Жеребенок.

М. Шолохов

    Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными
    мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка - рыжую Трофимову кобылицу - вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.
     В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки.
     Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:
     - Та-а-ак... Значит, ожеребилась? Нашла время, нечего сказать.- В последней фразе сквозила горькая обида.
     К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:
     - Догулялась?
     Не дождавшись ответа, заговорил снова:
     - Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?
     В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают красниною, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.
     - Убить его? - Большой, пропитанный табачной веленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.
     Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина. x x x
     В горнице, где помещался командир эскадрона, в тот вечер происходил следующий разговор:
     - Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, наметом - не моги, опышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеребаиная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот...- рассказывает Трофим.
     Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку е чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, к сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним - другие.
     - ...безразлично. Гнедой или вороней - все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.
     - Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.
     Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидея эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное - плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:
     - Половничек плетете?
     Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:
     - А вот баба - хозяйка - просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.
     - Нет, подходяще,- похвалил Трофим.
     Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил:
     - Идешь жеребенка ликвидировать?
     Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.
     Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая - выстрела не было. Трофим вы вернулся из-за угла конюшни, как видно чем-то смущенный.
     - Ну, что?
     - Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.
     - А ну, дай винтовку.
     Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.
     - Да тут патрон нету!..
     - Не могет быть!..- с жаром воскликнул Трофим.
     - Я тебе говорю, нет.
     - Так я ж их кинул там... за конюшней...
     Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...
     - Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война - на нем еще того... пахать. А командующий, на случай чего, войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боек у твово винта справный. x x x
     Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу пдти наметом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый флапг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных - с красномедными носами - выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.
     В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.
     Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чьето седло, облитое черной кровью, жеребенок...
     Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.
     - Спишь, Трофим?
     - Дремаю.
     Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:
     - Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился...- Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки. Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..
     Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой. x x x
     Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.
     Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.
     В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.
     - Загубит лодку! - хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.
     - Стреляй!..- заревел эскадронный, комкая плеть.
     Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...
     Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон - сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом е лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.
     Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у - мого хвоста его белыми пятнышками серебрились ушм коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голов взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.
     И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржанье: и-и-и-го-го-го!..
     Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы - и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:
     - Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..
     - Убью! - выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.
     Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. … Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь "максима". Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.
     Жеребенок ржал все реже, глуше и топыпо был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепурепко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.
     На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:
     - Пре-кра-тить стрельбу!..
     Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.
     Небо, лес, песок - все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие - и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...
     Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спипу - с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

1926

**Взаимодействие заглавия и текста в "Донских рассказах" М.А.Шолохова**

Быкова Ирина Константиновна, преподаватель русского языка и литературы

**Статья отнесена к разделу:** Преподавание литературы

**Объявление**

**Цели урока:**

*познавательные:*

* чтение и комментирование фрагментов рассказов с использованием биографического, историко-литературного, текстологического комментариев текста;
* приобретение навыков исследовательской работы над прозаическим текстом;
* формирование представления об особенностях индивидуального стиля автора;

*развивающие:*

* развитие образного, ассоциативного мышления и языкового чутья;
* формирование эстетического вкуса и приобщение студентов к творчеству М.А.Шолохова;

*воспитывающие:*

* воспитание внимания к слову;
* развитие любви к произведениям русских писателей, к произведениям М.А.Шолохова.

*Оборудование*: "Донские рассказы" М.А.Шолохова; фотографии писателя, обложка к изданию рассказа "Нахаленок", фотография дома Шолохова в Вешенской, вид на Вешенскую с Дона, крутояры Дона, кадр из фильма "Смертный враг" по одноименному рассказу.

*Форма урока*- аналитическая беседа.

**Ход урока**

*Заглавие -* один из компонентов текста, предваряющий текст, называющий его, - имеет важное значение для раскрытия идейного и философского смысла произведения.

Будучи компонентом текста, заглавие оказывается связанным с текстом довольно сложными отношениями взаимозависимости. С одной стороны, оно предопределяет в известной мере содержание текста, с другой - само определяется им, развивается, обогащается по мере развертывания текста.

Заглавие всегда сообщение о содержании того, что предстоит нам прочитать. "Приступая к чтению книги, - замечал А.М.Пешковский,- читатель интересуется содержанием ее и в заглавии видит намек на это содержание или даже сжатое выражение его Значит, название книги есть всегда нечто большее, чем название". [ 2 ]

*Что говорит нам заглавие книги "Донские рассказы"?*

Заглавие нацеливает нас на место действия - Дон. Слово "рассказы" определяет жанровые особенности повествований и их количество.

*Историческая справка.* Донское казачество всегда отличалось вольнолюбивым характером, и даже во времена империалистической России имело автономию. Революция 1917 года, гражданская война, события, происходящие в России в 1917 - 1918 гг, были присущи и территории Дона.

"Поэты рождаются по-разному. Я, например, родился из гражданской войны на Дону", - признавался писатель. Шолохов оказался в эпицентре гражданской междоусобицы, видел белый стан изнутри. В марте 1919 г. он стал очевидцем трагических событий Верхне-Донского контрреволюционного восстания, вспыхнувшего в тылу Красной Армии. Цикл "Донские рассказы" - это повествование о событиях, участником которых являлся писатель: служил продработником, "гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922, и банды гонялись за нами", "комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти", лет ему было всего лишь семнадцать.

Первый рассказ М,Шолохова "Звери" (позднее опубликован под названием "Продкомиссар") встретил непонимание: "ни вашим, ни нашим". 14 декабря 1924 г. появился рассказ "Родинка", явившийся прологом донского цикла. В.1926 г. выходит первый сборник "Донские рассказы".

Обратимся к содержанию "Донских рассказов". В книгу вошли следующие рассказы: "Родинка", "Пастух", "Продкомиссар", "Алешкино сердце", "Бахчевник", "Путь-дороженька", "Нахаленок", "Председатель реввоенсовета республики", "Смертный враг", "Жеребенок", "О Колчаке, крапиве и прочем", "Чужая кровь" [ 3 ].

*Что подсказывают нам названия рассказов?*

Названия рассказов "Родинка", "Пастух", "Алешкино сердце", "Бахчевник", "Нахаленок", "Жеребенок" указывают на молодость героев.

Названия "Председатель реввоенсовета республики", "О Колчаке, крапиве и прочем", "Смертный враг", "Чужая кровь" дают представление о времени, отраженном в рассказах - эпоха революции и гражданской войны.

Повесть "Путь-дороженька" (единственная в цикле, состоит из двух частей) определяет действие главных героев в цикле - движение вперед, к счастью, к мирной жизни.

*Так что же говорят нам названия в цикле "Донские рассказы"?*

Действие будет происходить на Дону, герои рассказов - молодые люди - живут в эпоху революции и гражданской войны. И каким будет их будущее, зависит от людей, которые живут рядом с ними.

Опираясь на названия рассказов, мы наметили путь нашей работы над взаимодействием заглавия и текста:

1. Ищем в тексте доказательства места действия - Дон.
2. Как в рассказах отражается эпоха революции и гражданской войны.
3. Тема и идейное содержание цикла и рассказов.
4. Система действующих лиц.

Место действия рассказов - Дон доказывается *лексикой*: казак, хата, яр, кочковатый летник, хутор, станица, кочет, бахча, бахчевник, станичники и др.; *фразами* "И поплыл на желтую косу, обнимающую Дон.", "Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды." ("Родинка"); "Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода - шестнадцать суток дул горячий ветер", "Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травою приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая", "Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень" ("Пастух"); "Два лета подряд засуха дочерна вылизала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы" ("Алешкино сердце"); "встал Митька раньше раннего, обротал гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу", "Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой", "Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась пехота", "Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил", "Спустились к воде. Дон снова облизывал лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду" ("Бахчевник"); "Вдоль Дона до самого моря степью тянется Гетманский шлях. С левой стороны пологое песчаное Обдонье, зеленое чахлое марево заливных лугов, изредка белесые блестки безыменных озер; с правой - лобастые, насупленные горы, а за ними, за дымчатой каемкой Гетманского шляха, за цепью низкоросых курганов - речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы и седое вихрастое море ковыля" ("Путь-дорога"); "Против старого монастыря Дон, пристегнутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока подталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом" ("Жеребенок"); "Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог" ("Чужая кровь").

Описание природы Дона у Шолохова не только рисует картину окружающего мира, но и настраивает на определенный тон повествования, создает настроение.

Все рассказы связаны как в пространстве, так и во времени. Они отражают трудное для нашей страны время - время революции и гражданской войны. Рассказом, задающим тон повествованию, настраивающим на трагические события в жизни казаков, можно считать рассказ *"Родинка".* Он первый в цикле, поэтому его название не предвещает ничего трагического. Но уже первые строчки повествования вводят нас в мир войны: "На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба". Все смешалось: предметы войны лежат рядом с хлебом, ассоциирующимся у каждого человека с жизнью. Читая дальше, мы оказываемся в центре гражданской войны на Дону. В смертельной схватке встречаются командир эскадрона Николай Кошевой (член РКСМ) и атаман банды. Николка вырос без отца, пропавшего в германскую войну, мать умерла, и он ушел с красноармейцами воевать против Врангеля.

Атаман семь лет не видел родной земли. Сначала германская война, потом плен, армия Врангеля, теперь он бандит.

Они оба устали от войны. Николки мечтает учиться; закаменевшая душа атамана тоскует по земле, по семье, по сыну, которого последний раз видел совсем мальчишкой, таким помнил всегда, такого почему-то надеялся увидеть. Они встречаются в бою, полные ненависти друг к другу, не подозревая, что столкнулись в смертельной схватке отец и сын. Атаман убивал врага, но, сняв с него сапоги, увидел родинку на ногеи узнал своего сына. Не высказать словами горе отца, уже не имеет значения вся эта кутерьма, белые, красные... Жизнь кончена, незачем жить; держа в объятиях найденного сына, атаман-отец застрелился.

Так *тема цикла* "Донские рассказы" определяется уже первым рассказом - это тема гражданской войны, самой страшной войны, потому что в ней врагами оказываются близкие люди. В рассказе "Родинка" врагами оказались отец и сын. Что может быть ужаснее такого противостояния? Шолохов не комментирует события гражданской войны, он только рисует эти страшные картины, давая возможность читателю самому делать вывод.

*Идея цикла* также задается первым рассказом - показать события гражданской войны на Дону, противоборство между "отцами" и "детьми", красными и белыми, казаками и "иногородними". Человек у Шолохова поставлен в нравственную коллизию выбора, пытается соединить полярные стихии жизни - кровавое и социальное. Именно здесь открылся у Шолохова "гуманизм непривычного масштаба" [ 1 ], некая "философская доминанта".

Мотив смерти настойчиво начинает звучать уже в первом рассказе и проходит через весь цикл "Донских рассказов": "патроны, пахнущие сгоревшим порохом", "отчаянно застучал пулемет", "шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло тело и послушно сползло наземь" ("Родинка"); "телушка Гришакина сдохла", "к полудню подохли все", "не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот" ("Пастух"); "показательный суд устроим и шлепнем", "Расстрелять!", "Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички, из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень" ("Продкомиссар"); "К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка - младшая, черноглазая", "Убитая едой, уснула, как лежала, - голова в печке, а ноги на скамье", "зажав в кулак железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди" ("Алешкино сердце") и т.д. Погибают от руки бандитов взрослые, защищая советскую власть, власть, которая дала им землю, вселила надежду на счастливую жизнь, погибают дети, вставшие на сторону большевиков, поддерживающие новую власть, мечтающие учиться.

Несмотря на мотив смерти, присутствовавший во всех рассказах, побеждает жизнь: продкомиссар спасает бездомного мальчишку, сестра Григория Дунятка идет в город учиться (об этом мечтал брат), Алешка спасает от смерти ребенка бандита, Митька и Федор уходят к красным, убивают Ефима, но остается жить его маленький сын ("Смертный враг"), спасая жеребенка, погибает Трофим ("Жеребенок").

Все рассказы объединены образом главного героя: ребенок ("Нахаленок", "Жеребенок"), подросток ("Пастух", "Алешкино сердце", "Бахчевник", "Путь-дороженька"), молодой человек ("Продкомиссар", "Чужая кровь", "Родинка"). Есть рассказы, герои которых не относятся к категории молодых, но сражаются они за Советскую власть, борются с бандитами, с противниками новой власти ("Председатель реввоенсовета республики", "Смертный враг", "О Колчаке, крапиве и прочем").

Почему именно дети становятся героями "Донских рассказов" М.А. Шолохов?

Взрослые отстаивают позиции прошлого времени, так как оно им понятно и привычно, не несет никаких перемен, не требует измениться. Дети же, выросшие в бедности ("Родинка"), оставшиеся без родителей ("Пастух"), испытавшие голод ("Алешкино сердце"), увидевшие смерть, терпевшие издевательства отцов ("Бахчевник"), хозяев ("Алешкино сердце", "Пастух"), стремятся к новой жизни, которая обещает равенство, образование, работу, мирную жизнь. И герои видят это спасение в Советской власти, тем более что она уже рядом: в соседней станице, на том берегу Дона, в нескольких километрах. Да и самому Шолохову тогда было столько же лет.

Мы проследили взаимосвязь заглавий в цикле "Донские рассказы", а теперь обратимся непосредственно к самим рассказам и найдем их внутреннюю связь.

Первые три рассказа заканчиваются трагически: "Родинка", "Пастух", "Продкомиссар". Поэтому после череды показанных автором смертей и трупов, черствых душ, возникает рассказ "Алешкино сердце". Нонсенс - доброе сердце среди жестокого мира голода и гражданской войны. Как сердце не ожесточится, когда всё подводит к этому: от голода умерли младшая сестра и мать, на его глазах убили старшую сестру. Сам Алешка выжил только благодаря политкому Синицыну, пожалевшему мальчишку. Видимо, Алешкино сердце - особенное, оно умеет прощать, оставаться добрым, отзывчивым.

После рассказа "Алешкино сердце" трудно не верить, что новая власть не победит старую, тем более что старая несет голод, жестокость, смерть, а новая власть в лице политкома Синицина заботиться об Алешке, помогает выжить, принимает в ряды РКСМ, вселяет надежду на будущее.

Название рассказа "Бахчевник" не предвещает трагических событий. Бахчевник - самая мирная профессия: охрана станичной бахчи. Бахевником стал Митька - сын станичного атамана, человека властного и жестокого, не имеющего жалости ни к пленным солдатам, ни к собственным сыновьям, ни к жене. И опять перед нами столкновение отца и сына, двух сыновей. Казалось бы, сыновья должны поддерживать отца, помогать ему в борьбе с красными, но дети пошли против отца. Сначала старший сын уходит к красным, затем уходит из дома младший Митька. Не передалась детям жестокость отца, не приемлют они и его всепоглощающей ненависти, направленной как против врагов, так и против близких. Если в рассказе "Родинка" отец убивает сына, то в рассказе "Бахчевник" сын убивает отца. И опять автор не высказывает своего прямого отношения к поступкам героев, он предоставляет такую возможность читателю. Нам трудно найти правых и виноватых: убийство всегда остается убийством, а убийство отца - самое страшное преступление. Оно ведет к гибели семьи.

*Тема семьи* также объединяет все рассказы в цикле. Революция и гражданская война привели с самым трагическим последствиям: разрушили семью, непримиримыми и жестокими врагами стали близкие люди: отец идет против сына, сын против отца, брат против брата. В стороне не остается ни одна семья, изображенная в "Донских рассказах": от голода умирают сестры и мать Алешки ("Алешкино сердце", "Родинка"). Без родителей остались Григорий и Дунятка ("Пастух"), Петр ("Путь-дороженька"); лишились отцов, поддерживающих и защищающих новую власть, восьмилетний Мишка ("Нахаленок") и совсем маленький сын Ефима ("Смертный враг"), не увидят отца дети Трофима ("Жеребенок"). Мы видим этих детей в настоящем, а что с ними будет дальше, не может сказать и сам автор, но одно ясно - детям без родительской помощи, наставлений, доброго слова будет тяжело. У них есть только надежда на счастливое будущее.

Нет такой надежды у героев рассказа "Чужая кровь". Они старики, оставшиеся без сына, без вести пропавшего на войне. Нет сына - нет смысла жизни. Старики выхаживают раненого красноармейца, даже называет именем сына. Он для них воплощение смысла жизни. Заглавие рассказа отражает его содержание: чужая кровь никогда не станет родной. Несмотря на все старания стариков, поправившийся солдат возвращается к себе на Урал. У него нет семьи, нет родителей, но и чужие родители ему не нужны.

Каждый рассказ - это не просто повествование о событиях, происходящих на Дону, но и трагедия каждого человека, трагедия донского казачества, трагедия всего народа России, пережившего страшные годы гражданской войны.

Для восприятия смыслового содержания заглавия, а в конечном итоге - и всего произведения, для верного прочтения авторской мысли необходимо учитывать связь заглавия с другими компонентами художественного произведения. Казалось бы, что нам может подсказать заглавие "Донские рассказы"? Невнимательному читателю оно не скажет ничего, но если вдуматься в заглавие, проследить внутреннюю связь каждого рассказа, вырисовывается картина эпохи гражданской войны, жизнь мирных жителей, противостояние красных и белых, борьба нового со старым. А самое главное, мы видим разных людей, понимаем их чувства, страдаем вместе с ними, радуемся их победам, вместе с ними терпим поражение и надеемся. Все это происходит потому, что Михаил Александрович Шолохов рассказывает о событиях не придуманных, а пережитых им. Обратимся к эпиграфу урока и попытаемся осмыслить его заново, после работы проведенной над "Донскими рассказами": "Я за то, чтобы у писателя клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему дорог. Только при этих условиях будет создано настоящее произведение подлинного искусства".

Нужно ли нам сейчас читать "Донские рассказы" М.А.Шолохова? Я думаю, что нужно читать все произведения Шолохова: они помогают понять самое трудное время в истории страны, узнать о жизни донского казачества, сделать для себя вывод: человек должен жить и трудиться в мирном государстве. Самая страшная война - это война между отцом и сыном, между братом и братом, между гражданами одной страны, у нее нет победителей, есть только побежденные.

*Домашняя работа:* проследить взаимодействие заглавия и текста в рассказах "Пастух", "Продкомиссар", "Путь-дороженька", "Нахаленок", "Смертный враг", "Жеребенок", "О Колчаке, крапиве и прочем".

[**РОДИНКА**](http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/sh0/sh1/sh1-333-.htm#Родинка)

**I**

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, — анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: *Кошевой Николай*. *Командир эскадрона*. *Землероб*. *Член РКСМ*.

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: *18 лет*.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, — говорят шутя в эскадроне, — а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли...счастливый! Ну, да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

**II**

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, по́том горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались:«В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

**III**

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вна́зирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанские, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чудна́я и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

**IV**

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой но̀ги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок...Ты нас не бойся, — миролюбиво просипел атаман. — Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути, — сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик. — Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук. — Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути, — сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня?— Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, — голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

**V**

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это... — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди...— крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парны́е лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь

привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

**VI**

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

\*\*\*

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», — обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился:не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

\*\*\*

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, — с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

**Михаил Шолохов. Один язык**

 По станице Лужины давнишне грязная корка снега, недавно прилетевшие грачи в новом, цвета вороненой стали,оперении.

 Дым из труб рыхл и тонок. Небо как небо - серое. Контуры домов

расплывчаты от реденькой мглы, что ли. Лишь за Доном четкая и строгая

волнится хребтина Обдонской горы да лес стоит, как нарисованный тушью.

 В нардоме - районный съезд Советов. Начало. Секретарь окружкома партии уверенно расстанавливает слова доклада о международном положении. На скамьях - делегаты: сзади глядеть - краснооколые казачьи фуражки, папахи, малахаи, дубленополушубчатые шеренги. Единый сап. Изредка кашель. Редко - бороды,больше - голощекого народа с разномастными усами и без них.

 Секретарь читает ноту Чемберлена. Из задних рядов запальчиво:

 - Пущай не гавкает!

 Председательствующий звонит стаканом о графин:

 - К порядку!..

 А после доклада, в получасовом перерыве, когда а фойе поник над

папахами табачный дым, в гуле голосов услышал я знакомый, как будто

Майданникова, голос. Растолкал ближних. Он, Майданников - вновь избранный председатель Совета хутора Песчаного. Вокруг него куча казаков. Самый молодой из них, в неизношенной буденовке, говорил:

 - ...И повоюем.

 - Наломают нам хвост...

 - А раньше-то!

 - У них, брат, техника.

 - Техника без народу, что конь без казака.

 - Аль народу у них мало?

 Майданников заговорил опять. Голос у него густомягкий, добротная

колесная мазь.

 - Ты брось это. Ты, односум, белым светом не того... Случись война -

она нам не страшная... Тю, да ты погоди! Дай сказать-то! Кончу я молоть,

тогда ты засыпешь, а зараз слухай. Нас в германскую забрали в пятнадцатом году. Третьей очереди я был. Из станицы Каменской сотню нашу - на фронт.

Пристебнули к Восьмой пешей дивизии, мы и ходим с ней, навроде как на пристежке. Побывали в боях. Под Стырью с коньми расстались. Всучили нам штыки на винтовку, и превзошли мы в кобылку. Воюем. В окопах и по-разному. А больше все в них. Год в проклятой глине просидели. Четыре месяца без отдыху.

Вша нас засыпала! Тут - с тоски, а тут - немытые. И вши были разные: какие с

тоски родются - энти горболысые, а какие с грязи - энти черные, ажник

жуковые. Хучь они и разные, а кормили мы их одинаково: рубаху, бывалоча, сымешь, расстелешь на землю, как потянешь по ней фляжкой али орудийным стаканом - враз кровяная сделается. Палками их били, ремнями... Как животных, убивали. Вот до чего много их развели! Косяками в рубахах гуляли.

 А сами воюем. За что, как и чего - никому не известно. Чужое варево

хлебали.

 Год прошел, и заняла меня тоска. Смерть - и все! Тут - но коню

стосковался, по месяцам не видишь, как его коновод правдает; там - семья

осталась неизвестно при чем. А главное, дело, за что народ - и я с ним! -

смерть принимает, неизвестно.

 В шестнадцатом году сняли нас с фронта, увели верст за сорок. В сотню

пополнение пришло, почти что одни старики. Бороды пониже пупка, и все прочее.

 Поотдохнули мы трошки, коней выправили. И вот тебе - бац! Из штаба

дивизии приказ: двинуть нашу сотню к фронтовой линии. Там, мол, солдаты бунтуются, не желают в окопы, в глину лезть; с смертью кумоваться не желают...

 Разъяснил нам есаул Дымбаш: так, мол, и так. Я взял тут, написал ему

записку и кинул из толпы. "Ваше благородие, вы нам всчет войны разъясняли, что народ разных языков промеж себя воюет. А как же мы могем на своих идтить?" Прочитал он и сменился с лица, а сказать ничего не сказал. Тут-то мы и разжевали, на что к нам старых казаков в сотню влили, да и то из староверов. Они за царя дюжей и за все дюжей могли стоять. Одно дело - старые, служба давнишняя их вышколила, а другое дело - дурковатые, службой убитые. И то: в энти года в полку ум человеку отбивали скорей, чем косарь косу отобьет.

 Погнали нас на солдатов. С нами четыре пулемета и броневая машина.

Подходим к месту, где полк бунтуется, а там уже две сотни кубанцев, ишо

какие-то дикие и собой рябые, на калмыков похожие, окружают этот полк.

Страшное, братцы, дело! За леском две батареи с передков снялись, а полк на прогалинке стоит и ропщет. К ним офицеры подъезжают, усватывают их, а они стоят и ропщут.

 Отдал есаул наш команду, повынали мы палаши и - рысью, охватываем

солдат подковой... И кубанцы пошли... И зачали солдаты винтовки кидать.

Свалили их костром и опять ропщут.

 А во мне сердце кровью закипает, аж на губах солоно горит. Как я могу

человека в энту могилу гнать, ежели я сам там жизни решался, жил в земле,

как суслик?.. Подскакали. Вижу я: казак нашего взвода Филимонов сгоряча бьет солдата шашкой плашмя по морде. И на глазах моих пухнет у энтого морда и вся в крови, а он оробел. Молодой солдатишка, и явно оробел. Так по мне мороз и пошел, не могу с собой совладать, подскакиваю: "Брось, Филимонов!" Он меня в мать, даром что старовер. Я палаш занес, постращать хотел: "Брось, говорю, а то, истинный бог, срублю!" Он как рванет винтовку с плеча. Я его и ширнул концом палаша в глотку... Как в чучелу ширнул, а вышло - живого человека снял с земли... Получилось тут такое, что сам черт не разберет. Кубанцы зачали в нас стрелять, мы - в них. Дикие, рябые энти, на нас в атаку, а солдаты подхватили обратно винтовки и опять ропщут и стреляют по всей коннице. Там такая была волнения...

 Захватили нас оттуда, сначала в тыл было направили, потом как ахнули в

Карпаты; с гашников не успели вшей обобрать, и вот тебе Карпаты. Идем ночью по ходам сообщения. Приказ - чтоб ни стуку, ни бряку. Оказалось, австрийские окопы в сорока сажиях от наших. День живем. Головы не высунуть. Дождь.Мокро. В окопах - по щиколотки грязи. Нету во мне ни сну, ни покою. Жизни нет! Как там, думаю: за что мы в этих окопах с смертью в обнимку живем?

Стала мне колом в голове мысля, чтоб погутарить с австрийцами. Ихние

солдаты по-нашему гутарят. Иной раз шумят: "Пан, вы за что воюете?" - "А вы за что?" - шумим. Не могем порешить за дальностью расстояния. Думаю: вот бы собраться по-доброму, погутарить. Нету возможностей! Разделили народ проволокой, как скотину, а ить австрийцы такие же, как и мы. Всех нас от земли отняли, как дитя от сиськи. Должен у нас ить один язык быть.

 И вот утром раз просыпаемся, а караульный шумит: "Гля, братцы, за нашу

проводку зверь зацепился!" И австрийцы, слышим, взголчились, как грачи на жнивье. Я это высунул трошки голову, а супротив меня стоит лось, зверь такой- навроде оленя, рога кустом. И зацепился за проволочные заграждения рогами.

Левей нас по фронту сильные бои шли, вот стрельба и нагнала его промеж окопов.

 Австрийцы шумят: "Пане, выручайте животную, мы стрелять не будем!" Я шинель с себя - и на насыпь. Глянул на ихние окопы, а там одни головы

торчат. Толечко я к зверю, а он - в дыбы, аж колья, укрепы, зашатались. Мне

на помогу ишо трое казаков повыскакивали. Ничего не могем поделать - он к себе и близко не подпушает! Глядь, австрийцы бегут - без винтовок, и у

одного ножницы.

 Тут-то мы и загутарили. Наш сотник слег на насыпь и целит из винтовки в

крайнего австрийца, а я его спиной заслоняю. Не могли же нас офицеры

разогнать, и повели мы австрийцев гостями в свои окопы. Зачал я с одним

говорить, а сам ни слова ни по-ихнему, ни по-своему не могу сказать, слеза

мне голос секет. Попался мне немолодой австрияк, рыжеватый. Я его усадил на патронный ящик и говорю: "Пан, какие мы с тобой неприятели, мы родня! Гляди,с рук-то у нас музли ишо не сошли". Он слов-то не разберет, а душой, вижу,понимает, ить я ему на ладони мозоль скребу! Головой кивает: да, мол, согласен. И собралась округ нас куча казаков и ихних. Я и говорю: "Нам, пан, вашего не надо, а вы нашего не трожьте. Давай войну кончать!" Он опять, вижу, согласен, а слов не разумеет и зовет нас руками к себе. Объясняет:там, дескать, есть наш, который по-русски кумекает. Мы и пошли. Вся сотня снялась и пошла! Офицеры напугались, ходу. Пришли мы в австрийские окопы.

Чех у них по-нашему гутарит. Я с своим австрийцем гутарю, а он переводит. Я своему подовторил, что мы не враги, а родня. И опять же ему на ладони мозоль ногтем поскреб и по плечу похлопал. Он через чеха отвечает: я, мол, рабочий, слесарь, я очень согласен с вами. Говорю ему: "Давайте войну, братцы, кончать. Никчемушнее это дело. А штыки надо по сурепку тем вогнать, кто нас стравил". Его ажник в слезу вогнали эти слова мои. Отвечает, что дома бросил жену с дитем и согласен войну кончать. Шум мы подняли великий. А офицер ихний ходит индюком и зубы, падло, скалит. Братались мы и кохвей у них пили.

И такой мы язык нашли один для всех, что слово им скажу, а они без

переводчика на лету его понимают, шумят со слезьми и целоваться лезут.

 Как пришел я в свои окопы, то вынул из винтовки затвор, затолочил его в

грязь и кровно побожился, что больше разу не стрельну в австрийского брата: в слесаря, рабочего, в хлебороба... В эту же ночь ушла наша сотня из окопов, разоружили нас возле деревни Шавелки. А спустя время получился переворот, царя в Петербурге наладили...

 - Погоди,- перебил рассказчика молодой казак в буденовке,- а как же

зверь?

 - Зверь? Ему что, зверя мы выручили. Пыхнул, по тех пор его и видали.

Беремя колючей проволки на рогах унес. Тут не в звере дело. Тут люди одним языком загутарили, а ты вот брешешь: война, война. Война будет известная: как доберемся до солдатов ихних, мозоль об мозоль черканется, и загутарим...

 - Товарищи делегаты, заходите! - позванивая в колокольчик, крикнул

кто-то со сцены.

 Распирая створки двери, погромыхивая разговорами, в зал потекли сбитые в массив плотные толпы делегатов.

## Михаил Шолохов. Коловерть

 На закате солнца вернулся из станицы Игнат.

 Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб, лошадь заиневшую ввел

во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах

скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая

снег. Пахомыч, тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал

младшему сыну Григорию:

 - Ступай, кобыленку отпряги, сена я наметал в конюшне.

 Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал

окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и

улыбнулся, радости не скрывая:

 - Слухом пользовался - красногвардейцы на округ идут...

 Пахомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным:

 - Войной идут али так?

 - Разно гутарют... А только беспокойствие в станице, томашится народ, в

правлении миру видимо-невидимо.

 - Не слыхал молвишки всчет земли?

 - Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут.

 - Та-а-ак,- крякнул Пахомыч и соскочил с иечки по-молодому.

 Старуха у загнетки загремела ложками; щи в чашку наливая,сказала:

 - Кличьте вечерять Гришатку.

 На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевою хмурилась ночь.

Пахомыч ложку отложил, бороду вытирая расшитым рушником, спросил:

 - Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?

 - Мельница работает в размол, можно веять.

 - Ну, кончай вечерять и пойдем в амбар. Зерно надо перевеять, завтра,

как удастся погода, уторком доеду смолоть. Дорога-то как, избитая?

 - Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудновато. Сбочь

дороги снегу глыбже пояса.

## II

 Григорий вышел за ворота проводить.

 Пахомыч натянул рукавщы и yi-нездяяся в иередкв.

 - На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно;

отелится...

 - Ладно, батя, трогай!

 Полозья саней с хрустом кромсают оттаявшую снежную корку. Вожжами

волосяными Пахомыч шевелит, золу, просыпанную на улице, объезжает.

Попадается оголенная земля - подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут

лошади. Хоть и снасть справная и кони сытые, а Пахомыч нет-нет да и слезет с

саней, кряхтя,- больно уж важко нагрузили мешков.

 На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой

шаговитой. Где приглянулось, оттепель сжевала снег, дорогу дурашливо

изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень.

 Лес начал огибать Пахомыч - навстречу тройка стелется. А снегу возле

леса намело торы. В сугробах саженных дорожку прогрызли узенькую,

разминуться никак невозможно. Что не видно- очень скоро, вот-вот.

 - Эка, скажи на милость, оказия-то!.. Тпру!..

 Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную

ветер облизывает. Потому снял Пахомыч шапчонку свою убогую, что опознал в

тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у

полковника землю он арендовал восемь лет подряд.

 Тройка ближе. Бубенцы промеж себя разговорчики вполголоса ведут. Видно,

как с пристяжных пена шмотьями брызжет и тяжело-тяжело колышется коренник.

Привстал кучер, кнутом машет.

 - Сворачивай, ворона седая!.. Что дорогу-то перенял?!

 Поравнялся и лошадей осадил. Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с

головой непокрытой к санкам подбежал, поклон отвалил низенький.

 Из саней, медвежьим мехом обитых, пучатся, не мигая, глаза стоячие.

Губы рубчатые, выскобленные досиня, кривятся.

 - Ты почему, хам, дог-огу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял?

Г-авнопг-авие?..

 - Ваше высокоблагородие!.. Христа ради, объезжайте вы меня. Вы

порожнем, а у меня вага... Я ежели свильну с дороги, так и не выберусь.

 - Из-за тебя я буду лошадей кг-овных в снегу душить?.. Ах ты сволочь!..

Я тебя научу уважать офипег-ские погоны и уступать дог-oгy!

 Ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье.

 - Аг-тем, дай сюда кнут!

 Прыгнул полковник Чернояров с саней и, размахнувшись, хлобыстнул кнутом

Пахомыча промеж глаз.

 Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь.

 - Вот тебе негодяй, вот!..

 Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной.

 - Я из вас дух кг-асногваг-дейский выколочу!.. Помни, хам, полковника

Чег-нояг-ова!.. Помни!..

 Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга. рубенцы говорят

невнятным шепотом... Сбочь дороги постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча,

сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он

тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, пока не

скроется в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой.

 Век не забыть Пахомычу полковника Черноярова Бориса Александровича.

## III

 С ведрами от криницы идет Пахомычева старуха.

 В вербах, стыдливо голых, беснуются гоачи. За дворами, на бугре, промеж

крыльев красношапого ветряка на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит

натужисто, плетни раскачивает. А небо - как вянущий вишневый цвет.

 Ко двору подошла, у ворот подвода. Лошади почтовые с хвостами, куце

подкрученными, и у ног их, захлюстанных и зябких, куры парной помет

гребут. Из тарантаса, полы офицерской шинели подбирая, высокий, узенький - в

папахе каракулевой - слез. Повернулся к старухе лицом иззябшим.

 - Мишенька!.. Сыночек!.. Нежданный!..

 Коромысло с ведрами кинула, шею охватила, губами иссохшими губы не

достанет, на груди бьется и ясные пуговицы и серое сукно целует.

 От материной кофтенки рваной навозом коровьим воняет. Отодвинулся

слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул.

 - Неудобно на улице, мамаша... Вы укажите, куда лошадей поставить, и

чемодан мой снесите в комнату... Заезжай во двор, слышишь, кучер?

## IV

 Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть

от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого.

 - Надолго приехал, сынок?

 Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими, по столу

постукивает.

 - Я командирован из Новочеркасска со специальным поручением от

войскового атамана. Пробуду, очевидно... Мамаша! Сотрите молоко со стола,

что за неопрятность... Пробуду здесь месяца два.

 Игнат с база пришел, следя грязными сапогами.

 - Ну, здорово, братуха!.. С прибытием.

 - Здравствуй.

 Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись и пальцы

сошлись в холодном и неприязненном пожатии.

 Улыбаясь натянуто, сказал Игнат:

 - Ты, братушка, ишо погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали...

 Брови нахмурил Михаил.

 - Я еще казачьей чести не продал.

 Помолчали нудно.

 - Как живете? - спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги.

 Пахомыч с лавки метнулся к сыну.

 - Дай я сыму, Миша, ты руки вымажешь.- На колени стал Пахомыч, сапог

осторожно стягивая, ответил: - Живем - хлеб жуем. Наша живуха известная. Что

у вас в городе новостишек?

 - А вот организуем казаков отражать красногвардейщину.

 Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши:

 - А через какую надобность их отражать?

 Улыбнулся Михаил криво:

 - Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуну хотят

сделать, чтобы все было мирское - и земля и бабы...

 - Побаски бабьи рассказываешь!.. Большевики нашу линию ведут.

 - Какую вашу линию?

 - Землю у панов отымают и народу дают, вон она куда кривится,

линия-то...

 - Ты что же, Игнат, за большевиков стоишь?

 - А ты за кого?

 Промолчал Михаил. Сидел, к окну заплаканному повернувшись, и, улыбаясь,

чертил на стекле бледные узоры.

## V

 За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над

Гетманским шляхом раскорячился.

 На кургане обглоданная столетиями, ноздреватая каменная баба, а через

голову ее, прозеленью обросшую, солнце по утрам переваливает, вверх

карабкается и сквозь мглистое покрывало пыли заботливо, словно сука - щенят,

лижет степь, сады, черепичные крыши домов липкими, горячими лучами.

 Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами, от старости вихляющими,

вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем

плугом лохматить.

 Давит на поручни Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а Пахомыч

по борозде глянцевитой ковыляет, кнутом помахивает да на сына любуется:

даром что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака за пояс заткнет.

 Загона три прошли и остановились. Солнце всходит. С кургана баба

каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама

алеет от солнечных лучей, будто полымем спеленатая. По шляху ветер пыльцу

мучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка - конный скачет.

 - Батя, никак, Михайло наш верхи бежит?

 - Кубыть, он...

 Подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на

пахоте спотыкается. Поравнялся - дух не переведет. Дышит, как лошадь

запаленная.

 - Чью вы землю пашете?!

 - Нашевскую.

 - Да ведь это земля полковника Черноярова?

 Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщовой вытирая нос, сказал

веско и медленно:

 - Раньше была ихняя, а теперь, сынок, нашевская, народная...

 Белея, крикнул Михаил:

 - Батя! Знаю я, чье это дело!.. Гришка с Игнатом до худого тебя

доведут!.. Ты ответишь за захват чужой собственности.

 Пахомыч голову угнул норовисто:

 - Наша теперя земля!.. Нету таких законов, чтоб иметь больше тыщи

десятин... Шабаш! Равноправенство...

 - Ты не имеешь права пахать чужую землю!..

 - И ему права не дадены степью владать. Мы на солончаках сеем, а он

позанял чернозем, и земля три года холостеет. Таковски есть права?..

 - Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя!..

 Пахомыч повернулся круто, закричал, багровея и судорожно дергая

головой:

 - На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!..

 Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил:

 - Я тебя, старая...- шагнул к отцу, кулаки сжимая, во увидел, как

Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками, и, голову

вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.

## VI

 У Пахомыча хата саманная. Частокол вокруг палисадника ребрами

лошадиного скелета топорщится.

 С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплетал хворостом, подошел,

и от рук его пахуче несло пряным запахом листьев лежалых.

 - Нас, Григорий, в правление требуют. На майдане сход хуторной.

 - Зачем?

 - Мобилизация, говорят... Красногвардейцы заняли хутор Калинов.

 За гуменным пряслом меркла, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе

рыжей половы остался позабытый солнечный луч, ветер с восхода ворохнул

полову, и луч погас.

 Гришка коня почистил, зерна задал. На крыльце кособоком вдовый Игнат с

сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза

братнины, от смеха сузившиеся, шепнул:

 - Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют!..

 Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал:

 - Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей всыпь...

 - Куда вас лихоман понесет?..

 - На кудыкино поле.

 До поздней ночи на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел

оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и

присел на каменный порожек обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело,

сердце трепыхалось скупыми ударами, а в ушах плескался колкий и тягучий

звон. Сидел, поплевывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице

примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная, жизнь уходит, не

оглянувшись, и едва ли вернется.

 Где-то у огородов около Дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренно

и четко бил перепел. Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью

закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул.

 - Ты спишь, Гриша?

 Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал

шубу овчинную.

 - Гриша, спишь, что ли?

 - Нет.

 Старик на край шубы присел, услыхал Гришка, как руки отцовы дрожью

выплясывают мелкой и безустальной. Сказал Пахомыч глухо:

 - Поеду и я с вами... Служить... в большевики...

 - Что ты, батя?.. А дома как же? Да и старый ты...

 - Ну, что ж как старый? Буду при обозе состоять, а нет - так и в седле

могу... А дома нехай Михайло правит... Чужие мы ему, и земля чужая...

Нехай живет, бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать!

 Разноголосо прогорланили первые петухи. Над Доном за изломистым

частоколом леса заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени.

 Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил,

оседлал. Вместе со старухой Пахомыча всхлипнули гуменные воротца, лошадиные

копыта сочно зацокали по солончаку.

 - Надо летником ехать, батя, а то на шляху могут перевстреть! -

вполголоса сказал Игнат.

 Небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за Дона, с

песков лимонных, сыпучих, утро шагало.

## VII

 На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным

карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках. В стены

паутинистые хуторского майдана баритон дворянски-картавый тычется. Пальцы

розовато-пухлые, холеные, жестикулируют сдержанно и вполне прилично.

 А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром

и хлебом пшеничным окисшим. Папахи красноверхие, бороды цветастые. Рты,

распахнутые, ловят жадно, а баритон, картавящий, гаденький, из губ, дурной

болезнью обглоданных:

 - Дог-огие станичники!.. Вы исстаг-и были опог-ой цаг-я-батюшки и

Г-одины. Тепе-гь, в эту великую смутную годину, на вас смотг-ит вся

Г-оссия... Спасайте ее, пог-уганную большевиками!.. Спасайте свое имущество,

своих жен и дочег-ей... Пг-имег-ом выполнения гг-ажданского долга может

послужить ваш хутог-янин хогунжий Михаил Кг-амсков: он пег-вый сообщил нам

пг-о то, что отец его и два бг-ата ушли к большевикам. И он пег-вый - как

истинный сын тихого Дона - становится на его защиту!..

## ПОСТАНОВИЛИ

 Казаков нашего хутора Крамскова Петра Пахомыча и сынов его Игната и

Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов Тихого Дона, лишить

казачьего звания, а также всех земельных паев и наделов, и по поимке

передать военнополевому суду Вешенского юрта.

## VIII

 Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У

хутора за гуменным пряслом стучал пулемет.

 Комиссар, раненный в щеку навылет, на жеребце, белесом от пота,

подскакал в тачанке, крикнул рвущимся и гундосым голосом:

 - Гиблое дело!.. Видать, нашлепают нам!..

 Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными

шмотьями крови, засипел командиру отряда на ухо:

 - Не пробьемся к Дону - могем пропасть. Посекут нас казаки, мешанину

сработают... Скликай в атаку идтить!..

 Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же

медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки

изо рта не вынимая:

 - По коням!..

 Отъехал комиссар сажени три, спросил, оборачи- ваясь:

 - Как думаешь, ликвидируют нас?..- и поскакал, не дожидаясь ответа.

 Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя

сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к

пулеметчику. Выронил тот из рук портянку, в дегте измазанную, присел,

по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер - одна нога в

сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил

надтреснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей,

затормошившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая

звеньями, снова тронулся бронепоезд "Корнилов" э 8, а плевок угодил правее

скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные

плети от прошлогоднего урожая.

 И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы

кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи Пахомычева кобылица жеребая, с

ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать, с хрипом голову

вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели. Песчаник жадно пил

розоватую пену и кровь.

 Болью колючей черствело сердце, шептал Пахомыч:

 - Матка племенная... Эх, не брал бы, кабы знатье!..

 - Дуришь, батя!..- на скаку прокричал Игнат. - Беги на бричку садись -

видишь, в атаку лупим!..

 Вслед ему глянул старик равнодушно.

 Пулеметный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На

патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над

землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных,

пахнущих чабрецом и полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах

земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

 Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху

сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил

пулеметам бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал.

 - Не горюй, батя; Кобыла - дело наживное!..

 Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы

набухли.

 В обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся.

 К вечеру подошли к Дону. Нз лощины до сумерек садила батарея, по бугру

маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по

зарослям терна, нащупывал коновязи, палатки, людей. Минуту цепко излапывал

их, поливая светом мертвенным, и гас.

 С рассветом - с бугра густо, цепь за цепью, как волны. Из терна

вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир

отряда о подошву сапога излатанного выбил трубку, взглядом

равнодушно-тяжелым обвел всех:

 - Неустойка выходит, товарищи!.. Плывите через реку, в десяти верстах

хутор Громов,- закончил устало: - Там - наши...

 Коня расседлывая, крикнул Гришка отцу:

 - Чего ж ты?!

 - Глупство!..-строго сказал Пахомыч, а у самого челюсть нижняя

запрыгала.- Плыви, Гриша!.. Коня разнуздай... А я того... стар уже...

 - Прощай, батя!..

 - С богом, сынок!..

 - Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался!..

 По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными

да сторожкие уши коня над сизой водой.

 Загнал Пахомыч обойму сплющенным пальцем, на мушку ловил перебегавшие

фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые

поднял:

 - Пропадаем, Игнат!..

 В упор в лошадиную морду выстрелил Игпат, сел, широко расставив ноги,

сплюнул на сырую, волнами напелованную гальку и ворот рубахи защитной разо-

рвал до пояса.

## IX

 За завтраком Михаил усики белобрысые нафиксатуренные самодовольно

накручивал.

 - Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в

корне пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что - и к стенке!

 Мать вздохнула:

 - А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...

 - Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона не должен ни с какими

родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной - все равно

передам суду...

 - Сыночек!.. Митенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью

кормила, всех одинаково жалко!..

 - Без всяких жалостей!..- Глазами повел строго на сынишку Игнатова: - А

этого щенка возьмите от стола, а то я ему, коммунячьему выродку, голову

отверну!.. Ишь смотрит каким волчонком... Вырастет, гаденыш, тоже

большевиком будет, как отец!..

## Х

 На огороде возле Дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет.

Волны гребенчатые укачивают диких казарок, плетни огорода лижут, обсасывают.

 Сажала картофель Пахомычева старуха, двигалась промеж лунок натужисто.

Нагнется, и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет.

Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами

ввалившимися шамшит беззвучно.

 За плетнем Игнатов сынишка в песке играет.

 - Бабуня!

 - Аюшки, внучек?

 - Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла.

 - Чего же она принесла, родимый?

 Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. На отмели

- ногами к земле - лошадь дохлая лоснится от воды, наискось живот лопнул, а

ветерком вонь падальную наносит.

 Подошла.

 Шею лошадиную мертвые руки человека обняли неотрывно, на левой повод

уздечки замотан накрепко, назад голова запрокинута, и волосы на глаза

свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбой изъеденные, смеялись, ощеряя

мертвый оскал зубов, и упала...

 Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную

охватила, мычала:

 - Гри-ша!.. Сы-но-о-ок!..

## ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА М 186

За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхне-Донского Округа сотник Крамсков Михаил производится в подъесаулы и назначается комендантом при Н-ском Военно-Полевом Суде.

 Командующий Северным фронтом:

 Генерал-майор М. Иванов

 Адъютант (подписьнеразборчива).

## XI

 Дорога обугленная. Конвойные верхами и их двое. Подошвы в ранах

гнойных. В одном белье, покоробленном от крови. По хуторам, по улицам,

унизанным людьми, под перекрестными побоями. На другие сутки вечером - хутор

родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скученная отара овец.

Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно:

 - Угадываешь, Игнат?.. Наша земля... с Гришей пахали...

 Сзади свист плети витой.

 - Без разгово-ров!..

 Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо

хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитым, и

грудь потер там, где колом" больным и неловким, растопырилось сердце.

 - Батя! Вон мать на гумне...

 - Не видит!..

 Сзади:

 - Молчи, сволочуга!..

 Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца.

 - Здорово, Пахомыч!.. Никак, землю отвоевывать ходил?

 - Он отвоевал уж на кладбище сажень.

 - Наука будет старому кобелю!

 Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил,

судорожно переводя дух:

 - Н-но, растаку вашу... Хучь погибнем мы, хучь и добро прахом пойдет, а

вам... памятку вложат. Не ваша правда!

 Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком,

зубы ощерив из рыжей бо- роды, ударил Пахомыча в голову.

 - Бей их!!! - крик сзади.

 С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, папахами

красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне. Под дробный топот

вязко и сочно стряли удары... Но с крыльца правления коршуном сорвался

Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в рубахе

изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал:

 - Братцы!.. Фронтовики!.. Не допущай к убийству!..- шашку выдернул из

ножен, над головой веером развернул сверкающую сталь.- На фронт их нету,

так-перетак... А тут убивать могут?!

 - Бей Микишару!.. Большункам продался!..

 Стеной плотной стали Микишара и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших,

от толпы отгородили Пахомыча и Игната.

 Постояли старики, погомонили и кучками пошли с площади. Смеркалось...

## x x x

 - Хотелось бы ваше г-ешающее слово услышать, подъесаул. Г-азумеется, мы

обязаны их г-асстг-елять, но как-никак, а это ваши отец и бг-ат... Может

быть, вы возьмете на себя тг-уд ходатайствовать за них пег-ед войсковым

наказным атаманом?..

 - Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю

и Всевеликому войску Донскому...

 С жестом трагическим:

 - У вас, подъесаул, благог-одная душа и мужественное сег-дце. Дайте я

вас по г-усскому обычаю г-асцелую за вашу самоотвег-женность в деле служения

пг-естолу и г-одному наг-оду!..

 Троекратный чмок и пауза.

 - Как вы полагаете, дог-огой подъесаул, не вызовем ли мы г-асстг-елом

возмущения сг-еди беднейших слоев казачества?

 Долго молчал подъесаул Крамсков Михаил, потом, головы не поднимая,

сказал глухо:

 - Есть надежные ребята в конвойной команде. С ними можно отправить в

Новочеркасскую тюрьму. Не проговорятся ребята... А арестованные иногда

пытаются бежать...

 - Я вас понимаю, подъесаул!.. Можете г-ассчитывать на чин есаула. Дайте

пожать вашу г-уку!..

## XII

 Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей

проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с

улицы сынишка Игнатов в картузе отцовском и старуха Пахомычева руками

окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла, моргает веками кровяными, рот

кривит, а слез нет - все выплакала.

 Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

 - Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

 Губами пожевал, сухо закашлялся:

 - По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. Посля

панихидку отслужи. Поминать будешь, не пиши: "красногвардейца Петра", а

прямо - "воинов убиенных Петра, Игната, Григория"... А то поп не примет...

Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел

когда...

 Сынишку Игнат на руки взял; часовой, как будто не видит, отвернулся.

Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сыну Игнат:

 - Папаня, а чего у тебя кровь на голове?

 - Это я ушибся, сынок.

 - А начто тебе вон энтот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил?

 - Чудак ты какой!.. Он нарочно вдарил, шутейно...

 Молчат. Камышовые былки под ногтями у Игната перезванивают.

 - Пойдем домой, папаня? Ты мне мельницу дома сделаешь.

 - Ты с бабуней иди, сынушка...- Губы у Игната жалко дрогнули,

покривились.- А я потом приду...

 Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи, ногу, прикладом перебитую,

волочит и тельце маленькое, щуплое к груди жмет, жмет, жмет.

 - Папанька, начто у тебя глаза мокрые?

 Молчит Игнат.

 Потухли сумерки. С луга, с болот уремистых, из зарослей ольхи и

мочажинника туман на сады свалился росой - проседью серебряной. Траву

притолок к земле, захолодевшей и влажной.

 Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами подъесаула, в папахе

каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным

перегаром дыша:

 - Далеко не водить!.. За хутор, в хворост!..

 В тишине настороженной шаги гулкие и лязг винтовочных затворов.

 Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На

бугре - за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в

буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых - ночью щенилась волчица: стонала,

как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и,

облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку - из

лощины, из зарослей хвороста - два сиповатых винтовочных выстрела и

человеческий крик.

 Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла

волчица хрипло и надрывно.

## 1925